

Моя мама зовут Галина Васильевна Щербак, в девичестве её фамилия была Тихонова. Она 1922 года рождения, в августе этого года ей исполнилось девяносто пять лет. Во время войны фашисты угнали её из города Орша, в котором она родилась. Этот город находится в Беларуси, в Витебской области. Её концлагерный номер вытатуирован на руке выше локтя, и я его помню с раннего детства. Но мне даже в голову не приходило его записать. Теперь он почти стёрся и, кроме того, мама категорически отказывается его показывать — чего-то боится. До сих пор...

Однажды я попросила маму рассказать мне о её жизни. Рассказать, как постороннему человеку, журналисту, всё, что было, и всё, что есть... Вот что она поведала.

Елена Данченко

В 1938 году я переехала из Орши в Ленинград к бабушке Груне, маминой маме. Хотела закончить там школу и поступить в ленинградский юридический институт. Отучившись в 9 и 10 классе в 17-й школе Дзержинского района (угол Восстания и ул. Некрасовской), поступила в юридический институт, выдержала высокий конкурс — стать юристом было моей мечтой. В июне 1941 года в честь окончания первого курса в институте был дан самый настоящий бал: нарядные, счастливые, ставшие уже второкурсниками, мы кружились в вальсе, смеялись, играли в фанты, не зная, что нас ожидает завтра. Домой я попала в те самые “ровно четыре часа”. Только прилегла на кровать, как в комнату постучалась соседка (мы с бабушкой жили в большой коммунальной квартире):

— Галя, вставай, началась война!

— Ну и что, — буркнула я спросонья, — в 39-м тоже война была, с финнами, так мы её и не видели, — повернулась на другой бок и заснула...

Я хорошо пела, даже со сцены Домов культуры, в фойе кинотеатров, в основном, песни из репертуара Изабеллы Юрьевой. В ту войну с финнами, а боевые действия проходили совсем неподалёку от Ленинграда, мы с бригадой пели в госпиталях и видели раненых. Но вот войны не видели, так что я искренне верила, что какая-то очередная война закончится, как и советско-финская, в течение нескольких месяцев.

На 23 июня у меня был куплен билет в Оршу, и я уехала к родителям. Трудно сказать, где проще было выжить: в блокадном Ленинграде или в Равенсбрюке... Все мои ленинградские родственники, огромные семьи Николаевых и Матвеевко (а мои отец и мать — коренные петербуржцы) умерли в блокаду от голода... Скажу так: нигде не проще. Выжить в войну — тоже подвиг.

В первые дни войны через Оршу проезжали грузовики с евреями, сбежавшими из Польши. В те ужасы, что они рассказывали, трудно было поверить. С первого дня войны мой отец вместе с соседом Жорой Петкевичем работал в военкомате, занимался мобилизацией на фронт. Он и Жора достали где-то экскаватор и вырыли в нашем дворе глубокую яму-окоп. Накрыли её поверх брёвнами, засыпали землёй. В ней мы и соседи прятались во время бомбёжки Орши, а она была разрушена, почти как Хатынь. Потом папа вывез нас всех в посёлок Згарда, где мы за скудную похлёбку работали в поле у хозяйки.

Потом по постановлению горисполкома вернулись в Оршу, как выяснилось — прямо к оккупации. . . Наш дом сгорел в бомбёжках, и всё имущество вместе с ним; мне, матери и сестре пришлось поселиться у хозяйки. А вскоре нашу большую комнату заняли немцы — три эсэсовца. А мы с мамой и малолетней сестрой Катей ютились в каморке. Топили немцам печь, варили еду, убирали, стирали, а они нам за это давали по куску хлеба и по миске баланды.

Всю молодёжь города по повесткам вызывали на работы. Сперва я на огромном складе перебирала посуду. Бракованные, с отколотыми краями тарелки, блюда и заварочные чайники нам разрешали забирать с собой. Помню, принесла тогда много посуды соседям, мамочка даже кое-что выменяла на мuku. Затем нас стали на автобусе возить в Балбасово (в те годы и сейчас там находится военный аэродром) в госпиталь для немецких офицеров, где я и другие девчонки работали санитарками. Кормили нас хорошо: там были каши, супы. Я могла даже приносить бидоны с едой домой, кормила всю семью и соседей — семь человек. Под окнами госпиталя работали наши военнопленные. Я начала им спускать на верёвке еду, в тех же бидонах. За этим занятием меня как-то застал эсэсовец, вырвал бидоны из рук, бросил меня на пол, стал пинать и жестоко избивать. Меня хотели даже повесить в назидание местным “унтерменшен”. Спасла меня мама. Кто-то из наших девчонок сообщил ей о том, что случилось, она тут же примчалась в Балбасово и начала говорить по-немецки. Она прекрасно знала язык — выучка царского Института Благородных девиц. Не знаю, что она им наговорила, но вместо казни меня отправили на работы в Германию.

Мы ехали в товарняке трое суток. Ни есть, ни пить в дороге немцы нам не давали. Очутилась я в городе Рёхлин, в семье колбасника Генриха Рауш, который работал для фронта: поставлял солдатам сосиски в консервных банках, колбасу, тушёнку. В его колбасном цехе уже работали трое французских военнопленных: Дезире, Жан и Пьер. Там можно было жить: относились ко мне неплохо, не били, не кричали, кормили хорошо. Работать приходилось много и без выходных, в основном, по уборке дома и за детьми-гимназистами присматривать, но и мои хозяева тоже много работали. И дожилась бы я на той колбасе до окончания войны, возможно, спокойно, но язык у меня острый, как бритва. В дом к колбаснику повадился молодой офицер — русский, вывезенный в Германию ребёнком родителями-дворянами. Он служил в СС. Ну, и я неосторожно при нём пошутила, уже не помню, как и в связи с чем. Шутка заканчивалась словами: “Вот погодите, скоро придут наши”. Короче, сдал меня тот эсэсовец в гестапо.

Так я попала в политический женский концлагерь Равенсбрюк, который находился недалеко от города Фюрстенберг, в сравнении с которым даже оккупированная Орша и жизнь в немецкой “колбасной” семье казались раем. . . Это случилось в июне 1942 года, а было мне в те поры неполных 20 лет — я в августе родилась. Нам выдали полосатое платье и такую же полосатую куртку, платок на голову, деревянные опорки, которые мы носили на босу ногу, и зимой тоже. Всё.

Утром нам давали по куску хлеба, в обед — миску брюквенной похлёбки, вечером — эрзац-кофе. По воскресеньям одаривали 20 граммами маргарина и двумя кусочками сахара. А работа была каторжная, по 12 часов в сутки — с 6 утра до 6 вечера. Поднимали в 4 часа. Утром и вечером нужно было стоять на перекличке, где нельзя было даже шёпотом сказать слово. Стояли по два часа с голыми ногами в колодках — и в снег, и в метель, а потом шли на работу. Работала я сначала на земляных работах (копала рвы), потом шила в швейной мастерской, потом два года — на фирме “Сименс”. Это спасло мне жизнь — всё-таки не в поле на холоде. Мы работали в бараке, под присмотром надзирательницы. Перерыв был только полчаса, за которые мы успевали съесть половник брюквенного супа. В нашем бараке делали детали для немецких “Люфтваффе”, в основном, трансформаторы. И мы, русские, молча те детали браковали, на свой страх и риск.

В лагере сидели женщины всех национальностей: русские, белоруски, украинки, чешки, польки, голландки, сербки, словачки, даже немки, забранные по политической статье. Сидела жена Юлиуса Фучика, например, Густа Фучикова. Ох, я там и много языков освоила, пусть и на разговорном уровне, а немецкий знала лучше других, учила его в школе и в институте. Пела на разных языках, я ведь голосистая была, и немцы ставили меня впереди

колесники, чтобы я запекала по дороге на работу. Пела “Лили Марлен”, всякие немецкие народные песни. Мне языки легко давались, тексты песен запоминала быстро и с тех пор пою на восьми языках.

Женщины из СССР были единственные, кто не получал посылки из дома, потому что Сталин не подписал соглашения с Красным Крестом. Остальные получали посылки, и не все были крысами – делились с нами. Помню, раньше всех умирали француженки: худенькие они были, тонкокостные, а славянки другие, плотнее. В низшем лагерном начальстве служили польки, и были они хуже немок-ауфзерок (надзирательниц). Стучали на нас, русских, белорусок и украинок, сдавали ни за что. Надо было помалкивать. Уже в конце 1944 года я угодила на 15 дней в карцер. Там уже были женщины. Три дня держали без еды, приносили только воду. Нас страшно били. Лежали вповалку на земляном полу, от голода не было сил встать. Потом меня свалил брюшной тиф. Спасли чешские врачи из заключённых. В госпитале том ставили опыты на живых людях: отрезали здоровые конечности пилой без наркоза, вырезали почки, вынимали кости из ног, заражали неизлечимыми болезнями, делали воздушную эмболию. А трупы сжигали. Помню, привезли трёх голландок в больницу: длинные такие девки, высоченные. Они сильно кричали от боли. К ним подошли два врача и сделали в вену воздушную эмболию. Голландки тут же перестали кричать, скончались на моих глазах... Печи крематория на территории лагеря работали день и ночь. А я выжила, и меня те врачи-чешки устроили на “хлебную работу”: я начала перебирать в крытом бараке картошку и овощи. Не дай Бог что-то положить в рот и начать жевать, могли засечь и бросить снова в карцер. И не дай Бог что-то попытаться стачить – обыскивали при выходе. Но всё-таки какие-то крохи перепадали.

А спасли меня русские бомбы. Сейчас расскажу, как это было. В конце апреля 1945-го нас согнали всех, оставшихся в живых в лагере, и загнали в теплушки. Те поезда шли к Балтийскому морю. Целью фашистов было погрузить нас на баржи, вывести суда в открытое море и утопить, чтобы скрыть следы преступлений. Но наши войска уже наступали, состав начала бомбить русская авиация. Охранники бросились бежать, кто куда. Мы открыли теплушки и высыпали в чистое поле. И побежали, на ходу выхватывая из земли корнеплоды. Их, грязные, сырые, совали в рот – не было сил терпеть голод – жевали и бежали, бежали и жевали прямо под бомбами, бежали, петляя, как зайцы... Добежали до леса. Определились, где восток, и заснули. Нас в группе было человек пять-шесть. Проснулась я оттого, что кто-то наступил мне на лицо сапогом. До сих пор не знаю, приснилось мне это или случилось наяву. Стоят трое, один целится мне в лицо автоматом, думаю: “Всё, конец мой пришёл”. Начала плакать, умолять нас пощадить, по-немецки я хорошо к тому времени говорила. И тут послышался рокот наших танков, немцы побоялись себя обнаружить и ушли. И снова я была спасена! Вышли мы на дорогу, голодные, тощие, босые, в драных полосатых платках, а по дороге той идут наши! Что это была за встреча!.. Освободил нас лётный корпус Байдукова. Меня с девочками поселили, отмыли, а лётчики забили для нас корову. Мясо сварили в огромных чанах, и мы ели и ели, не насыщаясь... Две девочки умерли от заворота кишок, остальные выжили. От грязной бруквы с поля и от обилия нас виданного три с половиной года мяса сводило животы. Мы не вылезали из уборных от поноса, но всё равно без конца ели. Потом была длительная проверка МГБ. Мы работали официантками в столовой корпуса Байдукова. Помню, от слабости меня шатало, и я пролила почти кипящий борщ на одного офицера. Бросилась извиняться, а он ни слова упрёка мне не сказал.

В конце июля нас погрузили на грузовики, дали на каждую машину по мешку муки и отправили на родину, которую все три с половиной года лагеря я видела в снах. По дороге, завидев хозяйства, наши водители останавливались, мы выходили из кузова и рвали плоды с деревьев в садах и овощи на огородах. Немцы молчали, а вот поляки кричали на нас и ругались. Мы не обращали внимания – брали всё, что попадалось, пряча плоды земные за пазуху – пластиковых пакетов тогда не было, – а хозяева, понятное дело, газетными кулками не снабжали. Так доехали до границы с Белоруссией. Там меня посадили на поезд и отправили до Орши. Ранним утром сошла у вокзала и пошла пешком на Песчаный переулочок, где жила мама с сестрой. Плакали, обнимались, целовались... Вес мой был после лагеря 42 килограмма, при росте 170 см, а ноги водянистыми и слоновьих размеров, все в ранах,

да таких, что в каждую можно было вложить палец. Полно, попросила маму сварить мне чугунок картошки. Она сварила, посолила и полила картошку подсолнечным маслом. Я забрала чугунок в огород, села между грядками, вытянув ноги, и съела всё его содержимое...

От мамочки я узнала, что папа жив, но его пока не демобилизовали, а отправили с частью в Ригу.

На вопрос, встречалась ли я с кем-то из лагеря, ответчу “да”. И первая встреча произошла как раз в Риге. Отъехавшись и отоспавшись у мамы, я отправилась в Ригу, к отцу, на разведку. Дело в том, что ему там дали отдельную квартиру для нашей семьи на улице Дартаеэла, это за Двиной. Та квартира была большая, красивая, но с печкой, и все удобства — во дворе. Но у нас печка и в оршанском доме до войны была, и те же самые скворечные “удобства” во дворе. Еды было вдвоём, хотя и по карточкам, папа меня приодел. Но вот город не понравился — слишком плохое отношение к русским, это ощущалось в магазинах, на рынках, повсюду, где бы ты не говорил по-русски. И вот иду как-то грустная по улице, навстречу мне идёт красивая высокая дама и вдруг останавливает меня: “Галя!” Боже мой, это Катя Костяченко из Равенсбрюка! Немыслимая красавица с синими глазами — еле узнала бывшего лагерного заморыша. Не раздумывая, Катя повела меня к себе, а по дороге рассказала свою послевоенную историю. Катя была рижанкой, и её зывали, естественно, в родной город. После возвращения из Германии её вызывали в МГБ на допросы, и всё это закончилось неожиданно. Майор, допрашивающий Катю, однажды сказал ей: “Выбирай: или десять лет лагеря в Сибири, или выходишь за меня замуж”. Майор ей не нравился, он был до ужаса некрасив, почти уродлив. Но Катя выбрала его, потому что альтернатива была гораздо более уродливой. Она попросила меня быть с мужем приветливой, тем более, что к Кате он очень хорошо относился.

Кирилл оказался премилым человеком, принял меня, как родную. В Риге у меня не было других подруг, поэтому мы часто виделись. Кирилл приглашал нас в рестораны. Там красавица Катя заставляла мужчин столбенеть. Её нарахват приглашали танцевать кавалеры. Я заметила, что Кириллу это было неприятно, и я танцевала только с ним, отвлекая от ненужных мыслей, лишь бы они не поссорились. Уехав из Риги, никогда больше не встречалась с ними.

Вторую подругу по несчастью нашла в Кишинёве, уже после окончания юридического института. Встретила на базаре, в начале пятидесятых. Звали её Полина Черняк. Простая полная женщина. Полина нигде не работала, занималась подпольными абортами — в то время абортывали запрещены. Жила она небогато, но на еду ей и трём её детям хватало. Потом сына убили, а одна из дочерей пошла по рукам. О матери заботилась только одна путёвая дочь — Лариса. Когда я переезжала из Кишинёва в свою Оршу окончательно — а было это уже в 1993 году, — пришла к Полине попрощаться. Она, давно пенсионерка, тогда жила у внучки, и была совсем слабой физически.

Ещё одну мою лагерную подругу, Тонечку Анютееву, разыскала в Одессе. Ещё в Германии она дала мне свой одесский адрес, но только в конце пятидесятых годов, будучи в Одессе с концертной бригадой кишинёвской фабрики “Букурия”, где я трудилась в то время, разыскала её довоенное жилище. Там оказалась только её мама, но она дала мне Тонин адрес. Нашла я её дом в одном из типичных одесских двориков, поднялась по скрипучей аварийной лестнице на второй этаж, а там — четыре двери, и возле каждой шипит примус. Соседи показали Тонину дверь, предложили подождать её с работы у них. Пришла Тонечка, увидела меня и остолбенела... Ведь столько лет не виделись! Потом обнимались, целовались, плакали. Тоня пригласила меня к себе. Комнатка у неё была метров 5-6, там стояли двухъярусные нары, стол, один стул и всё. С первым мужем она была уже в разводе, и им пришлось поделить сыновей: старший остался с отцом, младший жил с ней. Работала Тоня поваром на барже. В её комнатке мы пробыли недолго, подружка стремительно потащила меня на Дерибасовскую, в шикарный ресторан “Лондон”. Там она заказала самое лучшее и дорогое. Сидели за столиком до закрытия, всё не могли наговориться. К её дому специально пошли пешком и говорили, говорили... Назавтра ей надо было заступать на смену, а мне — возвращаться с бригадой в Кишинёв. После этого мы часто встречались. Коренная одесситка, Тоня была весёлая, великая оптимистка, любила пропустить стаканчик вина за компанию и много курила, просто не выпускала

папиросу изо рта. Когда она повторно вышла замуж и получила двухкомнатную небольшую квартиру, мы с дочкой приезжали к ней в гости, купались в море. Курево сгубило её – Тоня умерла от рака лёгких. Когда в 1986 году я приехала к ней, дверь открыл муж и рассказал мне о её кончине.

Как я жила после войны? Трудно. В родном Ленинградском юридическом институте восстановиться не смогла. В архив попала бомба, все документы довоенных студентов сгорели. Преподаватели лежали на Пискаревке, и я не сумела доказать, что училась в своей альма матер. Бабушкину комнату мы потеряли. В конце войны к ней сумел пробраться её младший сын – мой дядя Лёва – и вывез её в Москву. Соседи были мертвы, а нашу комнату занял какой-то военный по официальным документам. Он меня на порог не пустил, пришлось возвращаться в Оршу ни с чем.

Начала заново: год готовилась к вступительным экзаменам в Минский МЮИ. Трудно было, за годы войны знания куда-то улетучились. Я интересная была, мне делали предложения в Орше молодые военные, а отец меня замуж не пустил. Сказал: будешь адвокатом. Надо профессию иметь, а потом замуж. Жизнь показала, что отец был прав.

В Минский юридический институт поступила легко. Ведь мне было уже 25 лет, и туда охотно брали девушек повзрослее. Пребывание в концлагере пришлось скрыть – иначе бы не допустили к экзаменам. Вы представляете: ТАК намучиться и в итоге всю жизнь скрывать, что была за границей. За какой границей? Добра и зла? За пределами человеческого общества, на положении рабочей скотины? Говорить об этом стало возможно только после перестройки. . .

Жили иногородние студенты тяжело: корпуса общежитий больше напоминали бараки. Все удобства – во дворе. Спали по две девушки на одной койке. Моя соседка по кровати писала прямо в кровать. . . Пришлось сказать её родителям, чтобы сняли ей комнату в Минске, только после этого я вздохнула. Помогали родители, мамочка держала огород и свинью. Отец привозил из Орши бульбу (картошку), капусту, сало. Готовила на керосинке борщи. В студенческой столовой было голодно. Но там давали неограниченно хлеб и горчицу. Так вот мы, студентки, мазали той горчицей хлеб и ели.

Минск был очень разрушен бомбёжками, по выходным нас гоняли на работы по восстановлению города. Носили по двое на стройке кирпичи в носилках, расчищали, неквалифицированная работа была и, конечно, бесплатная – никто не помогал СССР после войны. Однажды работали рядом с пленными немцами. Ох, я и оторвалась на них! Отборнейшим немецким матом так обкладывала, что они сначала затыкали уши, а потом устроили бойкот, сказав, чтобы меня убрали, иначе не будут работать. С ними наши обращались по-человечески, русские вообще милосердны к врагам.

На старших курсах устроилась на работу в “Белгорзаготзерно”, на полставки, жить стало легче – начала получать свою первую зарплату. При распределении мне предложили два места, на выбор: Калининград и Кишинёв. Ни с одним из них меня ничего не связывало, но захотелось на юг, фруктов поесть. Вообще еда для меня всегда была признаком достатка, чем-то вроде роскоши, слишком я наголодалась в Равенсбрюке. Кроме того, в Кишинёве жила моя подруга по МЮИ – Жанна Пархоменко. Вот я и поехала жить и работать в Кишинёв в 1953 году, а стукнул мне тогда уже 31 год. Юность закончилось, а я её так и не видала. . . Устроилась на работу на обувную фабрику имени Сергея Лазо. Жила на частной квартире, с несколькими девочками. По работе зашла как-то в Госарбитраж, а там встретила Якова Георгиевича Жуковского, оршанца, которого знала по МЮИ, – он был одним из наших преподавателей. Жуковский очень мне обрадовался. Пригласил работать консультантом в Госарбитраж и обещал помочь с квартирой. В Госарбитраже были привилегии: обеды в столовой Совета Министров, продуктовые пайки. Там же я начала играть в шахматы, да так успешно, что вошла в состав сборной Молдавии. Играя в шахматы, объездила весь Союз: Ленинград, Москва, Харьков, Донецк, мы играли везде.

Работа в Арбитраже была сложная: с 9 утра до 19.00. Было очень много бесед с посетителями. Больше всего недостаток по республике было у кондитерской фабрики “Букурия”. Я не выдержала, позвонила директору фабрики и пригласила прийти на собеседование. Рассказала ему, как надо действовать их юристу, чтобы не было столько недостатков и пересортицы. Он ушёл, довольный беседой, а через некоторое время позвонил и предложил у них

работать. Обещал квартиру в строящемся доме. А Жуковский своё обещание так и не сдержал, и квартиры мне не выделили. Ну, я и пошла работать на кондитерскую фабрику, о чём ни разу не пожалела.

Не обошло меня стороной и личное счастье. В 1956 году встретила своего будущего мужа. В то время он работал учителем русского языка и литературы в Избештах – это село, расположенное довольно далеко от Кишинёва. Встречались мы только по субботам и воскресеньям. Жить нам было негде – я в съёмной комнатухе, он жил в селе. Кроме того, мы не могли пожениться, потому что он был официально женат на русской бакинке Зое, от которой сбежал к родственникам в Кишинёв, не разводясь. А денег на развод и поездку в Баку не было. Попытались пожить у его семьи, семь человек в одной комнате. Не получилось. Сняли подвал у полковника Мухина, за Комсомольским озером. У него был участок, на котором стоял его частный дом и пристройки. И подвал – четыре ступеньки вниз. Вот там мы и поселились. Родилась дочь. Тогда декретный отпуск был около месяца, надо было на работу выходить – что делать с ребёнком? Яслей не было, и мама прислала мне из Орши первую няню для девочки, потом вторую. Вторая, Юля, была очень хорошей, дочка её полюбила.

Постепенно жизнь наладилась. Я очень понравилась руководству фабрики, при мне ни одной недостачи не случилось! Муж пошёл работать на студию “Молдова-фильм” администратором, там дорос до директора художественных фильмов. Комнату мне всё-таки дали – на троих. Муж был прописан у матери, в квартире, где жила огромная украинская семья. Но они все постепенно ушли, и его мать выделила нам площадь, сама пошла жить в частный домик. Площади мы сложили и выменяли на двухкомнатную квартиру на Рышкановке. Отдельную! Вошли, а там – паркет медовый, отдельная кухня, ванная с деревянным титаном для горячей воды, унитаз со сливом, коморка в подвале для тех самых дров. Мне всё это тогда показалось раем. . .

В 1962 году отец мой помог с разводом, выслал мужу 2000 старых советских рублей для поездки в Баку. Он поехал и развёлся. Так что замуж официально я вышла только в сорок лет.

Материально мы жили хорошо, работали оба, как два вола: я – на фабрике, муж – на студии. Он потом получил второе высшее образование, закончил Киевский институт народного хозяйства в Киеве, факультет экономики кинематографии, заочно. Сам по командировкам со съёмочной группой, ещё сессии в Киеве сдавал, мы редко виделись. Бывало, по три ночи не спал – работал и к экзаменам готовился. В отпуск я часто ездила только с дочкой – в Одессу, под Одессу – на Каролино-Бугаз, в Крым, брала её в командировки в Москву, в Ленинград, город своей юности.

Дочка выросла, стала журналистом. Вышла замуж и уехала жить в Москву. А мы с мужем остались в Кишинёве. Потом дочь привезла нам на несколько лет внука на воспитание – сама работала в редакциях, ездила в командировки. Потом внука молодые забрали, и мы остались одни.

Очень тяжело вспоминать перестройку в бывшей Советской Молдавии. Ну, наша участь никого не минула, и это отдельный рассказ. Но... надо было уезжать. Уехали в Оршу, на мою родину, и решение было правильным. Там у меня остались полдома от отца. Потом купили отдельный большой дом. Потом муж умер, и я осталась одна. Мне 94 года, все мои подруги ушли из жизни. Дочка живёт сейчас в Европе, приезжает ко мне ежегодно, живёт по месяцу и два, иногда и дольше. Внук приезжает крайне редко и на короткий срок – у него много офисной работы в Москве. Дочке проще – она писатель: взяла компьютер и приехала. Так и живу одна. У меня есть помощница по хозяйству, она покупает продукты, готовит еду, убирает, моет меня в ванной. Я всем довольна.

В Оршу и Витебск иногда приезжают немцы из фонда “Взаимопонимания и примирения”. Приезжали представители фирмы “Сименс”, с деньгами. Меня всегда приглашают первую – я ведь старейшая из выживших в концлагерях после войны и хорошо говорю по-немецки. Получила неплохую выплату из немецких фондов. На эти деньги мы и сумели с мужем на старости лет купить дом, в котором я живу.

Но знаете, если говорить о Равенсбрюке, то скажу словами Варлама Шаламова: “Он всегда со мной, куском льда в сердце, даже в самый жаркий июльский день”. Такое не забывается.

Галина Васильевна Щербак

г. Орша, Витебская область, Республика Беларусь